

МИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФІЯ РОЗЕНЦВЕЙГА.

(*Der Stern der Erlösung.* — Von Franz Rosenzweig. 1921).

Книга Розенцвейга «Звѣзда спасенія» есть одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явлений современной западной мистической мысли. Авторъ — еврей, и его книга имѣеть своимъ послѣднимъ назначеніемъ мистическое раскрытие и оправданіе іудаизма. Но содержаніе ея неизмѣримо шире этого рационального ея назначенія. Ея содержаніемъ является цѣлостная, своеобразно сочетающая философію съ богословіемъ и преодолѣвающая односторонности обоихъ, мистическая философія, изъ религіознаго опыта почерпнутое учение о сущности Бога, міра и человѣка и о смыслѣ человѣческой жизни.

Въ книгѣ поражаетъ, прежде всего, изумительное сочетаніе богатства темъ и глубины интуиціи съ строжайшей архитектонической стройностью. При повторномъ чтеніи вся эта огромная книга въ 530 большихъ страницъ, затрагивающая множество самыхъ разнородныхъ темъ (съ религіозной точки зрѣнія въ ней дается и философія языка, и литература, и теорія всѣхъ видовъ искусства, и философія исторіи, и философія права, и еще многое другое) и стремящаяся въ обсужденіи всѣхъ этихъ темъ дойти до послѣднихъ, метафизическихъ глубинъ, звучить вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ строго согласованная многочастная симфонія, въ которой небольшое число основныхъ темъ повторяется въ надлежащемъ мѣстѣ въ соответствующихъ, изъ общаго хода вытекающихъ, вариацияхъ, и почти необозримое богатство цѣлаго звучать стройно и гармонично. Брядь ли можно въ міровой мистической литературѣ найти книгу, написанную столь систематично и притомъ не въ виѣши-логи-

ческомъ смыслѣ (логическую или отвлеченно-философскую систематичность Розенцвейгъ сознательно отвергаетъ), — а во внутреннемъ смыслѣ музыкальной архитектоничности. Правда, эта стройность вызываетъ сразу же въ читателѣ и сомнѣніе, о которомъ мы скажемъ дальше; подъ ней скрыта, какъ увидимъ, внутренняя раздробленность, она предназначена сковывать и сдерживать жесточайшее противоборство духовныхъ началъ, не пашедшихъ подлиннаго внутренняго единства. Но и въ этомъ своемъ качествѣ она не есть пустая виѣшность, иллюзорное украшеніе; она импонируетъ, какъ свидѣтельство огромнаго духовнаго напряженія, которое проникаетъ вообще всю книгу и опредѣляетъ ея замѣчательный литературный стиль.

Чтобы дать понятіе объ этой архитектоникѣ ученія Розенцвейга, укажу сначала виѣшию схему книги, отчасти взятую прямо изъ ея оглавленія. Книга дѣлится на три части: 1. Элементы или дѣлающая предмѣрность. 2. Путь или всегда возрождаемый міръ. 3. Образъ или вѣчнай предмѣрность. Первую часть соединяетъ со второй «Переходъ», вторую съ третьей — «Порогъ», и третья завершается «Вратами». Эти три основныя части соответствуютъ тремъ центральнымъ темамъ книги — творенію, откровенію, спасенію. Каждая изъ этихъ частей имѣть свое вступленіе. Вступленіе къ первой части говоритъ «о возможности познать всеединство (das All)» и содержитъ критику философіи (*in philosophos*); вступленіе ко второй части обсуждаетъ «возможность пережить чудо» и содержитъ

критику богословія (*in theologos*); вступленіє къ третьей части говорить «о возможности вымолить царство» и полемически направлено противъ сектанского индивидуализма (*in tirannos*). Каждая часть имѣеть также свой особый символический языкъ, свои категоріальные начала. Тема первой части обсуждается въ символахъ математики, тема втрой — въ символахъ літургії. Каждая изъ трехъ частей дѣлится на три книги, соотвѣтствующія тремъ основнымъ началамъ въ ней трактуемымъ. Первая часть трактуетъ о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ, какъ «дляющихся предмірностяхъ». Въ трехъ его книгахъ говорится о «Богѣ и его бытіи или метафизикѣ», «мірѣ и его смыслѣ или металогикѣ» и «человѣкѣ и его самости или метаэтике». Общимъ символомъ этой части служить треугольникъ, обращенного остріемъ вверхъ. За этимъ треугольникомъ слѣдуетъ во второй части иное треугольство (символизуемое треугольникомъ обращеннымъ остріемъ внизъ) — треугольство, излагаемое въ трехъ главахъ: «твореніе или вѣчно длящаяся основа вещей», «откровеніе или всегда возобновляемое рожденіе души» и «спасеніе или вѣчная будущность царства» (вмѣстѣ съ тѣмъ въ этомъ треугольнике просвѣчиваешь — въ иномъ порядкѣ — и первое: міръ, человѣкъ и Богъ). Въ третьей части эти два треугольника скрещиваются, что символизируется пятиугольной звѣздой (щитомъ Давида). Отсюда производное (онтологически первичное) треугольство, описываемое въ трехъ главахъ: «Огонь или вѣчная жизнь» (метафизическое существо іудаизма, сосредоточенное на мірѣ и его спасеніи). «Лучи или вѣчный путь» (метафизическое существо христіанства, сосредоточенное на откровеніи и человѣкѣ) и «Звѣзда или вѣчная истина» (абсолютное существо Бога, въ которомъ замыкается всеединство, соединяя твореніе и откровеніе со спасеніемъ человѣка и міръ съ самимъ Богомъ).

Въ этихъ тематическихъ рамкахъ, но въ контрапунктическомъ ихъ развитіи и варіаціонномъ усложненіи, развивается ходъ мистическихъ размышленій автора, который мы здѣсь можемъ возпроизвести лишь въ сокращенно-общемъ схематическомъ видѣ, опуская множество конкретныхъ иллюстраций и мотивированныхъ отступленій. Какъ указано, вступленіемъ къ книгѣ служить критика

замысла философіи. Философія хочетъ постигнуть все, какъ единство; она предполагаетъ, что бытіе есть единство, тождественное съ единствомъ логической мысли и производимое отъ него. Но это въ дѣйствительности не такъ; въ исторіи философіи это обнаруживается въ томъ, что послѣ того, какъ ея замыселъ нашелъ свое завершеніе въ Гегелѣ, который даже саму исторію философіи включилъ въ единство системы, въ ту «шарообразность» бытія, которую провозгласилъ первый философъ — Парменидъ, человѣческая мысль, въ лицѣ Шопенгауера и истомѣ Ницше, взбунтовалось противъ этого замысла и этой мнимо-всеобъемлющей цѣльности противопоставила неутоленный запросъ личности — личности самого философа — о смыслѣ и цѣлности жизни. Бытіе не есть цѣльность всеединство, — въ немъ царить раздоръ и дисмармонія; оно лишь должно стать всеединствомъ. Бытіе, какъ мы его непосредственно имѣемъ, содержитъ три отдельные длящіяся «предмірности»: Бога, міра и человѣка, какъ бы сырой матеріаль или элементъ, которые лишь черезъ твореніе, откровеніе и спасеніе доходятъ до полноты бытія и согласованія между собой. «Предмірный Богъ» есть не «ничто» (въ противоположность отрицательной теологии), а нѣчто, произрастающее изъ ничего, «да» рождающееся изъ нѣдра «нѣть». Въ Богѣ есть единство да и нѣть, положительного и отрицательного, сущности («природы») и свободы. Свобода, сдержанная и проникнутая сущностью, есть мощь, всемогущество. Въ качествѣ такого единства сущности и свободы, Богъ метафизиченъ (сверхсущностенъ). Въ Немъ самодавлѣющая полнота бытія и свободы, покоя и движенья, но въ этомъ качествѣ Онъ есть покоящаяся въ себѣ жизнь, изъ которой нѣть никакого выхода паружу. Это — блаженный богъ античности, не вѣдающій міра и людей, «миѳический богъ». Индія и Китай вѣдаютъ Бога только какъ чистый безжизненный покой, античность имѣетъ Бога, какъ покояющуюся эзизнь или свободу. Античность тосковала по встрѣчѣ человѣка съ Богомъ, но не могла ее найти. Въ послѣднемъ ея міровоззрѣніи, въ ученіи объ эманациі, Богъ изливается, но въ самомъ этомъ разлитіи остается одиноко внутри самого себя. Міръ также есть первоначально ничто, «нѣть», изъ которого рождается «да».

Но «да» міра есть не бытіе, какъ у Бога, а начало всеобщности; это есть его логосъ. Логосъ не создаетъ единство міра (какъ думаетъ идеализмъ); логосъ есть на-противъ, система формъ, которая ограничена единствомъ міра. Единство есть не его достоинство, а недостатокъ; для логоса нѣть границъ въ познаніи и логическомъ оформленіи міра, но онъ ограниченъ самимъ міромъ, какъ замкнутымъ единствомъ. Но логосъ не можетъ и всецѣло овладѣть міромъ — въ мірѣ есть движеніе, натискъ, броженіе, въ силу чего онъ есть полнота частнаго. Частное не производно отъ общаго, не истекаетъ отъ послѣдняго (какъ опять таки мнить идеализмъ); частное, полнота жизни лишь стремится павстѣчу общему, но никогда не можетъ въ немъ раствориться. «Явленіе», «частность» есть въ мірѣ то же, что свобода въ Богѣ: всегда неожиданное, новое — метаологическое. Міръ не есть обнаружение общаго, а какъ бы результатъ борьбы между общимъ и частнымъ и ихъ частичного сліянія, которое выражается въ двухъ формахъ мірского бытія — въ индивидѣ, который есть частная точка скрещенія общихъ началь, и въ родѣ, который есть участненное общее. Связь рода съ индивидомъ выражена въ рожденіи, гдѣ изъ «родового» события возникаетъ индивидъ; и, съ другой стороны, индивидъ можетъ жить только въ «родѣ», племени, обществѣ. Это расчлененное цѣлое, этотъ сформированный, но еще не «с сотвореннымъ» міръ есть не всеединство, а только цѣлое. Это есть пластический міръ античности: міръ, какъ замкнутое во вѣ и сформированное внутри цѣлое, не могущее найти доступа ни къ Богу, ни къ человѣку. Античный человѣкъ не находитъ себя въ общемъ, а растворяется въ немъ. Надъ всѣмъ здѣсь царитъ не человѣческая личность, и не Богъ, а участненное и расчлененное общее. Это есть царство пластической красоты, замкнутой и покоящейся въ себѣ. Наконецъ, и человѣкъ есть ничто, утверждающее себя, порождающее свое «да». Это «да» человѣка есть не бытіе и не всесообщность, а единичность. Человѣкъ въ себѣ есть частное, которое какъ бы хочетъ оставаться частнымъ. По своей сущности человѣкъ, какъ такое частное, есть прямая противоположность Богу, какъ общему или всеобъемлющему. Если исходить изъ сущностей, то между человѣкомъ и Богомъ можетъ быть только

одно отношеніе — вражда. Но въ человѣкѣ есть не только «да», чистая особая сущность, но и «нѣть» — свобода; но свобода частнаго, конечно, есть не свобода могущества, все могущество, какъ у Бога, а свобода воли — въ буквальномъ, строжайшемъ смыслѣ — произволъ. Въ этомъ состоить «самость» человѣка, его упорство, его неизбывная, самочинность и строптивость (Trotz). Это есть послѣднее, глубочайшее существо человѣка, его «самость», онъ «самъ». «Самъ» человѣкъ абсолютно одинокъ, онъ несказаненъ, онъ чуждъ всѣмъ другимъ и всему другому — людямъ, Богу и міру. Съ послѣдней остротой человѣкъ сознаетъ это свое одиночество передъ лицомъ смерти: «нѣть болѣе упорнаго, высокомѣрнаго уединенія, чѣмъ то, которое изображается на лицѣ мертвѣца». Человѣкъ, какъ личность, какъ индивидъ — есть часть и соучастникъ міра; какъ «самость» онъ — въ себѣ сущее, виѣмѣрное начало. Ему чужды всѣ нормы. онъ — метаэтиченъ, какъ міръ — метаологиченъ и Богъ — метафизиченъ. Этого человѣка, какъ вѣчно длящійся предметный элементъ, элементъ бытія, повѣдала намъ также античность въ лицѣ героя трагедіи, трагического человѣка. Герой трагедіи живеть и гибнетъ молча, сго рѣчь не общеніе съ другими, а разсужденіе, не раскрывающее молчанія; вотъ почему античной драмѣ нуженъ хоръ, могущій повѣдать о судьбѣ вѣчно-замкнутой, гибнущей въ мірѣ души. Эта самость жаждеть только одного — бессмертія, вѣчнаго сохраненія себя; она не вмѣщается въ мірь.

Таковы постоянныя «предмірности» элементы бытія, изъ которыхъ оно должно сложиться, замкнуться въ себѣ, самодовльющія начала «миическаго Бога», «пластического міра» и «трагического человѣка». Какъ привести ихъ въ движеніе, раскрыть другъ для друга? Откуда и какъ достижимо ихъ единство, осуществляемое въ твореніи, откровеніи и спасеніи? Конечно, не надо представлять себѣ дѣла такъ, будто эти предмірности реально предшествуютъ тео-космо- и антропогоническому процессу, который предстоитъ выяснить: вѣдь иначе самое понятіе творенія лишено было бы смысла. Авторъ пытается пояснить свой (дѣйствительно пародоксальный) подходъ къ дѣлу такъ. Конечно, онтологически, съ точки зрѣнія Бога, твореніе есть первое и есть подлинное твореніе изъ ничего,

которое къ тому же для самого Бога совпадаетъ съ откровеніемъ и спасеніемъ. Но такъ какъ міръ — для самаго міра — не сотворенъ, а творится, то съ точки зрењія міра и человѣка допустимо мыслить элементы, какъ «предмірности», какъ темные силы или зачатки, которые въ твореніи должны раскрыться сознанію человѣка. Поэтому античнаа теологія, космологія, психологія, служить какъ бы субъективными символами таинственныхъ начатковъ подлинной теогонії, космогонії и антропогонії. Эти начатки не «существуютъ», они суть лишь «возможности», потенціи, которые человѣческому временному сознанію рисуются, какъ начала предшествующія —творенію или которая суть лишь отправные, гипотетические точки нашей мысли. Наряду съ ихъ замкнутостью, эти начатки характеризуются своей гипотетичностью: все въ нихъ проникнуто всеобщимъ «можетъ быть», шаткостью, неопределенностю, все находится въ неустановившемся броженіи, подобно пантеону античной религії. Лишь одніо отношеніе между ними выясняется: отношеніе какъ бы хронологической послѣдовательности. Руководясь опять таки феноменологіей античного сознанія, можно сказать: Богъ, какъ исконное наслѣдіе, издавна былъ, человѣкъ, какъ самое существо жизни, есть, міръ, какъ подготовляемый античной мыслью научный завѣтъ будущему, еще будетъ. Это есть первая и единственная руководящая нить для перехода къ дневному свѣту бытія и ведущая къ послѣднему надмірному свѣту.

Вторая часть : «Путь или всегда-взрѣждаемый міръ» начинается, какъ указано съ вступительного размышленія «о возможности пережить чудо». Теология, всегда считавшая чудо своей основной опорой, съ начала нынѣшняго вѣка отреклась отъ чуда и хочетъ обойтись безъ него, тогда какъ даже скепсисъ 18 вѣка критиковалъ лишь достовѣрность отдельныхъ чудесъ, но не выставилъ принципіальныхъ возраженій противъ чуда. Это отреченіе теологии отъ чуда, выразившееся во все разъничивашемъ «историческомъ» богословіи, привело къ «богословію переживанія», безъ объективной опоры въ прошломъ. Этотъ кризисъ совпалъ съ описаннымъ выше кризисомъ философіи; философія и богословіе одновременно впали въ субъ-

ективизмъ. Это состояніе требуетъ новаго синтеза философіи съ богословіемъ, который авторъ и пытается намѣтить въ своей теоріи чуда. Чудо есть не «невѣроятное», противорѣчашее нашему «знанію» событию, за которое оно теперь принимается. Оно есть, напротивъ, оправдание знания: а именно чудо (согласно древнему исконному его пониманію) есть *осуществившееся пророчество, знаменіе* Божіаго Провидѣнія, безъ котораго немыслимо предвидѣніе. Чудо есть чудо откровенія. Но откровеніе само есть, какъ увидимъ, въ извѣстномъ смыслѣ твореніе. Твореніе есть основная проблема новой богословствующей философіи; а требуемое ею сочетаніе глубочайшей субъективности съ ясностью объективности дается въ понятіи откровенія. Точка міра, въ которой твореніе сочетается съ откровеніемъ, есть то, что въ мірѣ само говорить — языкъ, человѣческое слово». «Божіи пути не суть человѣческія пути, и Божіи мысли — не человѣческія мысли; но Божіе слово есть и человѣческое слово». Такъ познаніе слова, какъ символа откровенія, есть путеводная нить для познанія реальнаго происхожденія міра и человѣка и ихъ судьбы, и тѣмъ для познанія творящаго, открывающаго себя и спасающаго Бога.

«Въ началѣ Богъ сотворилъ небо и землю». То, что казалось концомъ — скрытый, блаженный, въ себѣ живущій Богъ — есть лишь начало. Въ твореніи основные «да» и «нѣ» въ Богѣ перемѣщаются: источники нового движенія есть «да», могущество, «природа» Бога; Богъ творить не по произволу, а по необходимости своей природы; но въ основѣ Его природы лежитъ «нѣ», свобода, и потому необходимость Его не есть нужда и потребность, а свободное изъявленіе Его существа. Сокровенный Богъ свободенъ, но «откровенный» Богъ не можетъ не творить. Но какъ сочетать твореніе «изъ ничего» съ вѣдомымъ намъ потенциальнymъ бытіемъ замкнутаго въ себѣ пластического міра? Но если мы вспомнимъ, что міръ только со стороны Бога сотворенъ, а со стороны міра постоянно творится, то открывается возможность разрешенія противорѣчія. Пластический міръ не имѣть безусловной основы; его логосъ есть лишь имманентное ему начало, его душа; міръ ищетъ основъ, послѣдняго «да», онъ нуждается въ бытіи въ категорической утвержденности.

сти, какъ бы въ послѣдней санкції. Путемъ глубокомысленного анализа языка, какъ символа откровенія Бога, Розенцвейгъ показываетъ, что первослово есть первичное и самое общее прилагательное сказуемое: «хорошо!» (въ смыслѣ «да будетъ такъ!»). Это творческое слово (подобно fiat Я. Беме) и есть твореніе. Міръ созданъ не изъ хаоса (только эманитивный идеализмъ вынужденъ допускать исконный хаосъ или тьму), ибо хаосу качествъ предшествуетъ самый фактъ бытія. Твореніе длится безпрерывно, ибо въ каждое мгновеніе міръ нуждается въ утверждениі. Для самого міра его твореніе есть дѣйствіе въ немъ Провидѣнія. Богъ-творецъ не можетъ быть доказанъ, какъ таковой (опять таки въ противоположность идеализму, логически восходящему къ эманации источнику); напротивъ, сотворенность есть для міра какъ бы утверждениі, «всегданность»; міръ, именно, какъ сотворенный, есть не тѣни и сонъ, а подлинная реальность. Идеализмъ теряетъ міръ и вынужденъ искать суррогата реальности въ искусствѣ. Но подлинная тварность міра самому міру раскрывается въ откровеніи, въ словѣ. Путемъ глубокаго толкованія первой главы книги Бытія Розенцвейгъ показываетъ, что твореніе есть какъ бы наростаніе откровенія, переходъ отъ молчанія черезъ безличное «да будетъ» въ откровеніе Бога-личности: «соторимъ человѣка по образу нашему». И въ послѣднемъ словѣ: «и вотъ, хорошо весьма» твореніе есть сразу откровеніе спасенія, предъуказаніе сверхтварного бытія.

Міру въ твореніи дана тварность, т. е. смертность. Но «сильна, какъ смерть любовь». Тварность есть лишь начало новаго творенія черезъ Божью любовь. Но любовь Бога есть вызваніе его къ душѣ человѣка, его откровеніе человѣку; черезъ откровеніе даже впервые рождается изъ темной «самости» человѣка душа, какъ любящая Бога душа. Если твореніе есть вѣчная судьба, провидѣніе, то любовь-откровеніе есть свободное мгновенное событие. Черезъ нее человѣкъ, созидающій свою строптивость и грѣховность, преодолѣваетъ свою замкнутую самость. Его упорство (Trotz), раскрываясь въ сторону Бога, становится вѣриностью въ любви, ревностью о Господѣ. Заповѣдь «возлюби Господа Бога твоего» не противорѣчитъ свободѣ

любви; это не приказъ третьяго, а приказъ самого любящаго: «полюби менѧ». Въ любви Богъ открывается въ озаряющемъ свѣтѣ, становится яснымъ, изъ тьмы невѣдомости выступаетъ наружу, какъ «фактъ». И человѣческая душа изъ замкнутаго «я» становится соучастникомъ общенія между «я» и «ты». «Я» любящей и вѣрующей души есть уже не одинокая самость, а отвѣтъ «вотъ я» на Божій призывъ «гдѣ ты?», превращеніе человѣка-твари въ человѣка — дитя Божіе. И вторичный отвѣтъ Бога «ты мой», этотъ актъ Божіей любви, чтобы овладѣть міромъ, долженъ войти въ міръ, явиться въ мірѣ: таково историческое откровеніе, какъ основа вѣры. Отнынѣ возможна молитва, которая есть всегда мольба къ Богу, открыться явно, для всѣхъ и навсегда, какъ въ откровеніи Онъ явился одиноко любящей душѣ. Молитва есть молитва о пришествіи Царства Божія, о спасеніи. Богочеловѣческая любовь должна стать всеобщей и явной, любовь должна стать бракомъ, невѣста — сестрой и возлюбленной — мужемъ и образомъ («Пѣсня пѣсенъ») Бракъ, сверхприродное и интимное общеніе, которое вмѣстѣ съ тѣмъ есть совершенно мірской, длительный и открытый союзъ, есть символъ спасенія, котораго жаждетъ любящая душа.

Любящая Бога и открывающаяся Богу душа въ этомъ своемъ открытии Богу становится первоначально еще болѣе скрытой для міра(даже болѣе, чѣмъ замкнутая душа, которая въ своей замкнутости все же видима міру); чистый мистикъ отрѣшенъ отъ міра. Въ душѣ долженъ совершиться новый переворотъ; мистикъ становится святымъ, изъ любви къ Богу рождается любовь къ ближнему. Любовь къ ближнему есть не чисто-свободная любовь, какъ любовь къ Богу; это есть дѣйствіе подъ вліяніемъ Бога, исполненіе заповѣди, долгъ человѣка, его обязанность дѣйствовать. Любовь къ ближнему есть обращенность богопросвѣтленного человѣка къ міру, начало преображенія міра. Богъ и человѣкъ уже есть, міръ только становится — черезъ человѣка и его любовь. Міръ есть только явленіе; онъ долженъ стать сущностью, и становится ею, только очеловѣчиваясь и тѣмъ обоживаясь. Міръ естьничто, неспасаясь, онъ гибнетъ, упадаетъ въ ничто. Въ мірѣ дань зачатокъ спасенія, зачатокъ истиннаго бытія: онъ

данъ въ лицѣ жизни, органической жизни, которая, въ отличіе отъ простого, вѣчно гибнущаго и обреченного существованія есть внутреннее стремленіе существованія къувѣковѣченію себя въ постоянномъ образѣ. Но жизнь есть только въ немногихъ и слабыхъ зачаткахъ; жизнь должна не загораться въ отдѣльныхъ точкахъ міра, а охватить весь міръ чтобы онъ истинно былъ.

Она должна быть всеоблемлющей и вѣчной жизнью, она должна быть царствомъ Божіимъ. Міръ жажденъ спасенія. Такъ съ двухъ сторонъ идетъ исkanіе спасенія: со стороны любящей человѣческой души и томящагося по истинной жизни міра. Спасеніе есть очеловѣченіе — одушевленіе міра. Міръ и человѣкъ неотрывно связаны другъ съ другомъ, и должны войти въ подлинный союзъ. Здѣсь царить не одностороннее направлениѳ, какъ отъ Бога къ міру въ твореніи и отъ Бога къ человѣку въ откровеніи; здѣсь встрѣчное движение, великое «и» съ двухъ сторонъ, замыкающее бытіе и создающее изъ него всеединство. Бытіе становится великимъ «мы», согласныи хоромъ любящихъ душъ. Любовь къ ближнему есть только зачатокъ любви всѣхъ ко всѣмъ. Какъ произведеніе искусства подлинно живеть не въ творцѣ и не въ себѣ самомъ, а въ согласіи множествѣ воспринимающихъ его, такъ міръ живеть во всеединствѣ «мы», въ которое онъ преображается. Въ немъ завершается твореніе и откровеніе, въ немъ Богъ спасеть самого Себя. Ибо царство Божіе не противостоитъ царству міра, оно, напротивъ, входитъ въ послѣднєе, укрѣпляется въ немъ и превращаетъ его въ себя.

Здѣсь мы — на порогѣ надмірности, постиженію которой посвящена третья, самая трудная, загадочная и спорная часть книги. Символическимъ средствомъ постиженія служить здѣсь литургія, — не слово-рѣчь, а объединеніе въ хоровомъ славословіи и любви. Вступленіе къ — этой части говорить, какъ указано, «о возможности вымолить царство». Спасеніе не есть непосредственно дѣло Бога, оно есть дѣло пробужденной къ любовной дѣйственности человѣческой души. По древне-еврейскому изреченію, все на свѣтѣ — въ руки Божіей, за исключениемъ только одного — страха Божія. Страхъ Божій, или что то же, любовь къ ближнему творить человѣческій міро-порядокъ. Но «ближній» есть для любви

лишь замѣститель всѣхъ, замѣститель міра. Но міръ одинъ, и царство Божіе едино, человѣческихъ же душъ съ ихъ любовью много, каждая смотрѣть на міръ съ своей точки зрѣнія, имѣть свою судьбу и въ опредѣленномъ направлениѣ воздѣйствуетъ на міръ своей любовью. Чтобы благочестіе могло «вымолить» царство Божіе, спасеніе міра, нужна согласованность единичнаго и общаго, судьбы и любви отдѣльного человѣка съ судьбой и любовью всѣхъ, съ самимъ царствомъ Божіимъ. Какъ литургическая молитва есть общая молитва въ объективно опредѣленномъ общемъ порядкѣ, въ урочное время, такъ и тайна молитвенного воздѣйствія, спасающаго міръ, есть тайна согласованнаго, урочного духовнаго дѣйствія. Сектанты, мечтатели, насильники всякаго рода, пытающіеся подъ своимъ личнымъ угломъ зрѣнія совершаствовать міръ и вынудить наступліе царства Божія, задерживаютъ его наступліе, какъ задерживаютъ его и невѣrie, неспособное искать сго ускоренія. Подлинное приближеніе царства Божія достижимо только согласованному передъ лицомъ Божіимъ человѣческому единству — «церкви» (самъ Розенцвейгъ не употребляетъ здѣсь этого термина, но онъ напрашивается самъ собою изъ существа его мысли). Черезъ церковь Богъ даетъ спасеніе. Но спасеніе чего? Это не есть спасеніе міра при забвеніи души (идея католической церкви), ни спасеніе души съ забвеніемъ міра (идея протестантской церкви), ни спасеніе чистаго одухотворенія (идея православной юанновой церкви, церковность которой Розенцвейгъ отрицаѣтъ и которую онъ знає только какъ дѣйствіе личной духовности — «Алеші Карамазова»). Это есть спасеніе жизни, одушевленнаго тѣла міра, идея котораго живеть только въ ветхозавѣтной іудейской церкви. Іудаизмъ есть религія надежды на спасеніе, религія жизни, стремящейся къ вѣчности въ Богѣ.

Бытіе подъ знакомъ спасенія, бытіе спасаемое и спасенное, живеть въ образѣ или свѣтѣ Божіемъ. Но образъ или свѣтъ Божій распадается на три момента, соответствующіе міру, человѣку и Богу. Свѣтъ есть «огонь» или вѣчная жизнь, сосредоточенное въ глубинахъ жизни пламя вѣчности, онъ есть далѣе «лучи» или вѣчный путь — путь отъ Бога къ

Богу, отъ откровенія къ спасенію, и онъ есть, наконецъ, въ самомъ Богѣ «звѣзда» или вѣчная истина, всеобъемлющій и всеозаряющій свѣтъ, какъ таковой. Огонь или вѣчная жизнь воплощена въ іудаизмѣ. Іудаизмъ несетъ божественное начало въ своей крови, еврей — отъ Бога по кровной принадлежности къ избранному народу (тогда какъ христіаніе есть всегда обращенный, преодолѣваемый язычникъ). Единство крови, племенная связь какъ таковая, замѣняетъ іудею и родину, и языкъ и обеспечиваетъ іудаизму и вѣчную жизнь. Опасность же его лежитъ въ сосредоточенности въ себѣ, въ ревнивомъ обереженіи внутренняго пламени, въ отрѣшенности. Но, будучи опасностью для еврея, какъ личности, эта сосредоточенность не есть опасность для іудаизма, какъ цѣлаго, ибо въ ней — залогъ спасенія его, какъ хранимаго «остатка Израїля». Въ пламени жизни іудейства уже тайно сіяеть звѣзда свѣта Божіяго. Христіанство, есть, напротивъ, путь — вѣчный путь между двумя вѣчностями: для него вся исторія есть настоящее отъ Рождества Христова до послѣдняго преображенія. Христіанство цѣликомъ стоитъ въ «лучахъ» откровенія, его литургика есть литургика откровенія (какъ въ іудаизмѣ — литургія спасенія). Стоя на пути въ вѣчномъ переходѣ, оно должно развивать въ себѣ противоположныя начала и являть ихъ въ раздробленіи: противоположность между Отцомъ и Сыномъ, іерархомъ и святымъ, церковью и государствомъ. Внутри себя оно раздробляется на три церкви — Петра, Павла и Ioanna, изъ которыхъ каждая должна жертвовать для осуществленія своей задачи двумя остальными изъ трехъ со—относительныхъ началъ, ищущихъ объединенія. Церковь Петра жертвуетъ Богомъ и человѣкомъ для міра, церковь Павла — Богомъ и міромъ для человѣческой души, церковь Ioanna — міромъ и человѣкомъ для Бога. Но если съ человѣческой точки зрѣнія, іудаизмъ имѣеть въ глазахъ Розенцвейга безспорное преимущество передъ христіанствомъ, то въ самомъ Богѣ — въ «звѣздѣ» или вѣчной истинѣ, все различие оказывается несущественнымъ. Богу одинаково нужны и іудеи, и христіане. Богъ есть свѣтъ, и спасеніе для Него самого есть спасеніе отъ всего, что не не есть свѣтъ, не есть Онъ самъ. Богъ

есть истина (но не наоборотъ: истина не есть Богъ, какъ думаетъ идеализмъ, она только — отъ Бога). Въ этомъ свѣтѣ, какъ говорить псалмистъ, мы узримъ свѣтъ. Въ этомъ свѣтѣ исчезнетъ Богъ, міръ человѣкъ, какъ отдѣльные начала, замѣняясь неразрывнымъ кольцомъ единства творенія, откровенія спасенія. Этотъ свѣтъ недостижимъ ни познанію, ни переживанію, а только озаренію въ молитвѣ. Когда возсіяеть эта звѣзда спасенія, скрыто сіяющая въ внутреннемъ пламени іудаизма и искомая въ вѣчномъ пути христіанства, тогда твореніе будетъ заключено, и тварь сольется съ творцомъ. Сомніется начало съ концомъ, и Богъ явится тѣмъ, что Онъ есть — вѣчной истиной, и исполнится до конца Его первое творческое слово: «да будсть свѣтъ!»

Заключеніе книги «Врата» описываютъ почти несказанную спасенную жизнь лицомъ къ лицу съ сіяющимъ Образомъ Божіимъ. Здѣсь конецъ всѣмъ противорѣчіямъ, здѣсь жизнь побѣдила тварность и черезъ эти врата вступила въ саму Жизнь.

Въ этомъ скато-конспективномъ и потому неизбѣжно блѣдно-схематическомъ изложеніи мы вынуждены были опустить не только множество блестящихъ и тонкихъ подробностей и экскурсовъ (на пріимеръ, попутно съ уясненіемъ соотношения между твореніемъ, откровеніемъ и спасеніемъ проводимую глубокую оцѣнку Ислама, и многое другое, по и миновать рядъ глубочайшихъ мистическихъ идей автора (только для пріимера укажемъ на сходную съ Беме мысль, что «откровеніе» есть сердце бытія)). Критика этой грандіозной, ошеломляющей своимъ богатствомъ и глубиной мистической системы должна, чтобы не разрастись въ цѣлый трактать ограничиться намеками. Нѣть надобности останавливаться на заблужденіяхъ случайныхъ, порожденныхъ невѣдѣніемъ и непониманіемъ (какъ многое въ изображеніи и оцѣнкѣ христіанства). Единственно важное — ощутить основные проблемы и слабости этого міровоззрѣнія, вѣриг҃е сказать, лежащаго въ его основе религіозного жизнечувствія. Здѣсь прежде всего обнаруживается неслучайность пародоксальности отправного пункта — раздробленности бытія на три обособленныхъ начала — Бога, міра и человѣка. Она отражаетъ

какую то основную раздробленность въ душѣ автора, въ его религіозной ініції. Если мы оставимъ пока въ сторонѣ проблему міра и сосредоточимся на со-
гношенніи между Богомъ и человѣкомъ, то основной религіозный фонъ мысли обнаружится, какъ разрывъ междудо Богомъ и человѣкомъ — какъ незѣльніе Бого-
человѣчества. Этотъ основной грѣхъ іудаизма есть опытный центръ всего мистического построенія Розенцвейга. Весьма сомнительно, что-бы описываемый имъ упорствующій въ своей самости строптивый человѣкъ былъ дѣйствитель-
но тождествененъ съ героемъ античной трагедіи. Это есть, напротивъ, отчасти просто «жестоковѣній» ветхозавѣтный человѣкъ, отчасти же — человѣкъ новаго времени, отвергшій христіанство, но уже вкусившій отъ него. Это есть «ветхій Адамъ», тоскующій по отвергнутому имъ Христу. Въ этомъ смыслѣ замѣчательно, что вся книга дышитъ одновременно и враждой къ христіанству, и страстнымъ безсознательнымъ томлениемъ по нему. Во множествѣ мѣстъ Розенцвейгъ до-
ходитъ до порога христіанскихъ истинъ, часто почти ихъ формулируетъ съ поражающей глубиной и непосредственностью (какъ въ ученіи обѣ откровеніи, какъ любви, о богоявленіи въ мірѣ, о бого-
съюзѣ человѣка) и вмѣстѣ съ тѣмъ отталкивается отъ христіанства. Эта отталкивание не столь существенно и интересно, когда въ основѣ его лежить просто психологический моментъ наци-
ональной гордыни; оно становится существеннымъ, когда въ немъ обна-
руживается пробѣль или извращеніе религіознаго опыта. Замѣчательное тріединство «творенія, откровенія и спасенія» не есть у Розенцвейга подлинное тріединство: оно разрушается явствен-
нымъ разрывомъ между откровеніемъ и спасеніемъ. Тогда какъ твореніе тѣс-
нѣйшимъ образомъ связано съ открове-
ніемъ и — съ точки зрѣнія самого міра — есть ни что иное, какъ откровеніе тварности, откровеніе съ своей стороны не имѣть никакой внутренней, ми-
стической связи съ спасеніемъ. Спасеніе, характернымъ образомъ, отнесено къ будущему, какъ бы ничѣмъ не удостовѣ-
рено онтологически и есть дѣло рукъ человѣческихъ. Богъ-спаситель, о кото-
ромъ постоянно говорится, остается все же у Розенцвейга разсудочнымъ, до конца неуясненнымъ аспектомъ Божества,

и даже чисто іудейская, ветхозавѣтная идея Мессіи не играеть никакой опредѣляющей роли во всей концепціи. Тотъ же пробѣль обнаруживается въ зіяющемъ провалѣ, отдѣляющемъ любовь къ Богу отъ любви къ человѣку. Розен-
цвейгъ, въ сущности не объясняетъ — и не можетъ объяснить — откуда берется «любовь къ ближнему»; несмотря на всю силу его діалектики, она появляется у него неожиданно и необоснованно, какъ *deus ex machina*. И это вполне естественно, такъ какъ братство въ дѣйствительности произведено отъ Богосыновства, отъ Богочеловѣчества. Любовь къ ближнему не есть свободная любовь и потому въ сущности совсѣмъ не есть любовь: она есть только обязанность, исполненіе закона трансцендентной воли Бога, а не жизни въ Богѣ. Замкнутые въ себѣ Богъ и человѣкъ въ таинственномъ актѣ любви встречаются другъ съ другомъ (болѣе глубокій анализъ могъ бы, конечно, и тутъ показать, что эта встреча невозможна безъ допущенія первоединства), но это раскрытие души человѣка односторонне и само по себѣ совсѣмъ не предполагаетъ раскрытие человѣческихъ душъ навстрѣчу другъ другу, ибо отсутствуетъ понятіе Богочеловѣка, какъ всеединаго организма. Надъ всей концепціей господствуетъ вообще идея абсолютной и потому чрезмѣрной и односторонней трансцендентности Бога (прорываемая только въ ученіи обѣ откровеніи). Если исходящія изъ мотива трансцендентности Бога міру возраженія противъ нѣмецкаго идеализма глубоки и вѣрыны (хотя и не новы для насъ, русскихъ, — да и не новы вообще, если вспомнить Баадера и Шеллинга второго периода), то полное отсутствіе основного мотива античнаго платоническаго идеализма, отсутствіе всякаго ученія о мірѣ идей есть также корениной пробѣль этой мистической метафизики, сридѣтельствующей о разложеннosti, раздробленности лежащаго въ ея основѣ мисти-
ческаго опыта. Философски разносторонне и богато образованный, авторъ не знаетъ какъ слѣдуетъ или, что вѣроятнѣе, не восчувствовалъ ни Плотина, ни связанный съ платонизмомъ христіанской (восточной и западной) мистики, ни даже каббалы и іудейско-арабскаго платонизма. Его характеристика замкнутаго отъ Бога античнаго міра и замкнутаго отъ міра античнаго «ми-

онческаго» Бога, въ сущности, такъ же невѣра, какъ и уномлутая характеристика античнаго геройскаго человѣка. Античная мысль полагала разрывъ не между Богомъ, міромъ и человѣкомъ, а между божественнымъ космосомъ (космосъ, включающимъ въ себя боговъ) и богочеловѣческой душой, душой человѣка, непосредственно исходящей отъ Бога и родственной Ему; утверждая то и другое, она не могла достигнуть послѣднаго синтеза, но въ обоихъ этихъ направленияхъ шла къ нему. Напротивъ, собственная концепція Розенцвейга, совершиенно исключающая моментъ всеединства и утверждающая несогласимую съ имманентностью трансцендентность Бога, не преодолѣваетъ разрыва и остается внутренне имъ отравленной.

И — замѣчательное и роковое противорѣчіе! (противорѣчіе, конечно, не только логическое, а именно мистическое). Жизнено-пониманіе Розенцвейга, болѣюще этимъ моментомъ абсолютной трансцендентности, вмѣстѣ съ тѣмъ страдаетъ моментомъ порочнай, ложной имманентности. Царство міра и царство Бога, неожиданно и противоестественно и вмѣстѣ съ тѣмъ психологически вполнѣ естественно, оказываются однимъ и тѣмъ же царствомъ, и такая же тѣлесная внутренняя связь соединяетъ человѣка съ міромъ. Царство Божіе уже насанжено въ мірѣ, и притомъ не въ лицѣ Божественнаго Спасителя, побѣдившаго и преодолѣвшаго міръ, и не въ лицѣ возрожденной Имъ человѣческой души, а въ лицѣ издавно, естественно данной натуральной органической жизни. Оно само собой прорастаетъ въ вѣчную жизнь; и если человѣкъ своей любовью и молитвой о — спасеніи міра долженъ ити къ нему навстрѣчу, преображать органическую жизнь въ жизнь души, временную жизнь въ вѣчную, то и человѣкъ дѣлаетъ это какъ бы естественно, опираясь на свои собственные силы виѣ всикого духовнаго возрожденія, второго рожденія. Эту идею возрожденія Розенцвейгъ прямо отвергаетъ (какъ нѣть у него и грѣхопаденія); она есть для него лишь метафизический аспектъ психологіи язычника, обращеннаго въ христіанство, и не нужны исконному носителю откровенія — избранному народу. Возрожденіе или, вѣрнѣе, рожденіе души (въ отличие отъ самости), правда, совершается въ моментъ откровенія, но откровеніе не есть спасеніе,

и никакого спасенія души Розенцвейгъ не знаетъ. Для ираэгвенной дѣятельности, для любви и святости человѣку не нужно никакого самоопредѣленія, смиренія, уничиженія своего тварного я. Даже самая вѣра въ Бога, вырастающая изъ откровенія, хотя и есть рожденіе души, но есть не преодолѣніе упорства или сопротивленія личности (Trotz), а ея сублимациѣ въ упорствѣ вѣры, въ гордой преданности Богу (мысль, которая пріобрѣтаетъ какущуюся убѣдительность лишь черезъ двусмысліе иѣмецкаго слова Trotz, созмѣщающаго понятія упорства и строптивости).

Спасеніе никакимъ образомъ не связано съ покаяніемъ, оно проявляется изъ племенной жизни Израеля, изъ передачи его божественно-естественнаго смысла изъ поколѣнія въ поколѣніе, изъ натурального человѣческаго строительства міра; и Розенцвейгъ находитъ даже сочувственные слова для современнаго строительства Вавилонской башни, для борцовъ за человѣческій (съзижданіемъ человѣческій!) начала братства, равенства и свободы.

Такъ Розенцвейгъ, при всей глубинѣ своихъ мистическихъ прозрѣній, не преодолѣваетъ двухъ основныхъ, противорѣчащихъ другъ другу и вмѣстѣ съ тѣмъ связанныхъ другъ съ другомъ односторонностей, которыми страдаетъ современное ветхозавѣтное сознаніе и которыми объясняется и трагедія отверженія Богословія народомъ, Его породившимъ: крайнаго исключительного культа трансцендентнаго Божества и потому — забвенія трансцендентнаго Бога въ имманентизаціи человѣческой жизни, культа чисто-земной, мірской, натуральной святости. Правда, ортодоксальный юдаїзмъ врядъ ли признаетъ Розенцвейга адекватнымъ своимъ выражителемъ: несмотря на всю полемику противъ новѣйшей германской мысли, она все же пасквиль насыщена иѣмецкой духовной культурой. Но для европейской мысли его книга есть все же пробудившійся голосъ юдаизма. Въ этой стройной симфоніи звучатъ тайные диссонансы — вѣчные диссонансы еврейской души. Она вся есть неутоленный крикъ томящейся души о спасеніи. Спасеніе есть центральная тема книги, выраженная и въ ея заглавіи. Она ищетъ спасенія въ недостижимой трансцендентной всему человѣческому мистической звѣздѣ божественнаго свѣта, и, недостигая ея, тѣ-

шится надеждой, что эта звѣзда уже сияет въ темномъ пламени натуральной тварной «богочеловѣчности» избранного народа, она не видить, что истинное спасеніе не въ грядущемъ виѣшнемъ соединеніи трехъ точекъ — Бога, мїра и человѣка линіями въ треугольникѣ и не въ ихъ тщетномъ удвоеніи въ звѣздѣ, а лишь въ уже осуществленномъ, исконномъ и нераздѣльномъ единствѣ Бога и человѣка, жертвенно побѣдившемъ міръ — на крестѣ.

И все же книга эта, несмотря на всю неудовлетворительность своего конечного итога, остается замѣчательной и необычайно поучительной. Поучитель-

ны ея глубокія религіозныя боренія, ищащи выхода изъ тупика современного философствующаго невѣрія и вмѣстѣ съ тѣмъ пытающіяся пріобщить религіознымъ глубинамъ всю полноту новой духовной культуры, и въ особенности исканіе синтеза между философией и религіозной вѣрой, опирающейся на откровеніе. И то, что такая книга могла быть написана проникнутымъ всей новой германской культурой нѣмецкимъ евреемъ въ наши дни, свидѣтельствуетъ одновременно о томъ, что ни религіозная мысль іудаизма, ни германское философское творчество еще не изсякли.

С. Франкъ.